Сатанинское тавро

Пришли настоящие крещенские морозы в Голубинку, приютившуюся средь полевых дорог и потерявшую букву «О», и ее теперь привычно называли Глубинкой, впрочем, не видя для себя в том никакой разницы. Но глубинка российская себя показывала характерной для глубинки некой кучной семейственностью, где все друг друга знали сызмальства, к новым же людям, зацепившимся за село, относились сторожко — «нашенский» или другого склада песни петь будет. И новичок ни год, ни два обтирался, применивался, не желая белой вороной слыть. Да таких новичков и мало было. Раз, два и обчёлся.

Кормились землёй, лесом, плетением корзин и лаптей, хозяйством. А как без хозяйства? Россия вся наполнена петушиным криком, утиными и гусиными выводками, которые неделя, другая, третья и — шасть на реку! Хватало и лошадиного ржанья на выпасах. Отары овец и стада коров рассыпались на крутосклонах одноименной горы Голубинки, сплошь засыпанной белыми камнями. «И откуда им было взяться, камням этим?» — гадали люди. Между камней росла тонкая шелковая травка или ковром выстилались ярко-зелёные ягодники — вечная забава детей. Уж они-то знали, где более всего растет сладкая ягода. Бабки тоже забирались на гору, бидончики наполняли красной зарёй. Сидели потом на камнях, озирая окрестную красоту. Ходить им было трудновато, да как можно было удержаться? Земляничный дух от земли шел такой, что качнуть в сторону мог. Варенье и просто сушеная ягода зимой к столу — самая что ни на есть пища богов. Чай лечил и радовал, да ещё с грудочкой синеватого сахара ежели, но это — роскошь нечастая. На горе ещё рыжие вертихвостки-лисы водились, охотницы за курятиной, да им и поплатиться приходилось за шкоду. Хвастались мужики лисьими шапками задолго до «сурьёзных» холодов. Да и на воротник любимой жёнке добудет мужик шкурку, хай в тепло укутывается краля, когда завернёт ветрюга, когда станет целовать забурунная метель.

Река Катица ломала вёсла, когда шла рыба, изострённые гарпуны летели, а удочками пробавляться пацанва училась сызмальства, даже на середину бурунной реки отваживались плавать те, кто постарше, но и они получали взбучку от матерей. Мало ль шустряков вытащили на берег! А матери долго обвивали берега до самой ночи, глядя сиротливо на небесное лоно, усыпанное звездочками. И верили, что ещё одна звездочка загорелась там. Кровиночка их запеклась навечно на небесах.

Падкие были голубчане до небывальщин всяких. Пока история вырвется на волю, обрастёт такими подробностями, о которых прежде и не слыхивали. Чего стоила та ж история с Горынычем? Все знали о ней всё и ничего! Витала эта история в воздухе, потому что принять ее довоенная Голубинка никак не могла. Сказка — она и есть сказка. Про неё все знали, она-то и мешала правде

пробиться к затуманенному сознанию полуграмотных крестьян. «Сельчане, голубинчане, станишники», — не раз заговаривал с народом где ни попадя Пров, одногодок Корнея Лычки, которого считали чудаковатым за его странные «россказни», а сами и не знали даже, с каким и вправду чудом Бог свел Корнея.

— В нашей Глубинке трижды великое чудо произошло, — горячился Пров, — но бездна невежества не дает вам даже мозгой пошевелить! Мне Корней поведал мудреную историю, но вы ж и слова не даете сказать... я тоже не падкий до небылиц, но все ж остолбенел, когда увидел изломанные вековые деревья и шмонделки шкурятины, ни на что знакомое не похожие... Часом думал спервоначалу, что Корнею приблазнилось всё...

Закрыть рот Прову никому не удавалось, и его просто гнали вон. Невозможно убедить людей и тем, что не случайно же вернулся из леса Корней сам не свой и стал молчуном, отшельником, да и с речью у него начались неурядицы... Пытался Корней Тишке Зайцеву поведать о случае в лесу, но Тишка замахал руками:

— Я — бессменный лесовод по призванью. Каждый уголок знаю. В жизни никаких летающих Змеев Горынычей не видывал, не будь посмешищем для честных трудяг, которым и без того буки забили коллективизациями и раскулачиваниями, и красными, и белыми. Сколько лет прошло с ентой гражданской молотилки, а народ все не опамятовался, а ты чертовину буровишь... хоть и казацкого роду...

Не мог Корней перенести такой отповеди, кинул вдогон:

— Тишка. Ты всю жизнь напеваешь одну песенку тюремную, она твои извилины мозговые заполонила, и будешь до конца ее мурлыкать, певец глупости человеческой!

— Так я ж за напраслину год оддубасил. Ты ж и сам знаешь, черт рытый!

— А ты, видать, в лесу одну тропинку протоптал со страху, поглубже заходить кишка тонка, а Оно как раз там и прижилось... Давай вместях сходим... следы-то остались... остаа-аа-а, — снова стал заикаться Корней, хватаясь за сердце.

Тишка кинулся от него, как от чумного, все ж жалкуя, что опять Корнея довёл до ручки. А потом, когда встречал его, старался обходить стороной. Иди себе от греха подальше... Самому некогда дохнуть. Да и куда там ему обращать внимание на Корнея? У него на подворье полно диковинных зверюшек и растений: то в лесу находил, то выменивал в городе на рынке у таких же чудаков, как он сам, да ещё и переписку завел. С Алтая ему присылали облепиху «масляный бочонок» безколючковую, в Москву на птичий рынок повадился. То одно привезёт, то другое. Побывать у Тишки на подворье набивались многие, да он не давал им поблажки. Заразу принесут ещё на ногах, а то позарятся на что и украдут чего... Вот ежели попросят, так и, пожалуй,

выделишь рассады. Всё равно лишку бьёт... можно и снять с жердочки дрозда и показать, ручной стал, можно кустик или веточку дать бабе какой. Да им хоть чего ни подари — тяму не дадут, придбают. Жену свою муштровал: «Ксюха, природа обидчивая, враз раскусит тебя. Как ты к ней, так и она к тебе! Она ж душу имеет, ежели ты у того ж огорода убьёшь душу, так и не порадуешься. Вот такой тебе будя коленкор... А люди по своей неграмотности али ещё из-за чего ни о сортах не подумают, ни законах земли. Им же некогда всё. Им же лишь бы сунуть в землю абы что и жди с моря погоды, а уход, а подкормить...»

Тишка не мог в толк взять и того, что никто из станичников и в голову не берет, чтоб прибраться на подворье и за двором, будылья прошлогодние не пожгут. Ну куда ни шло к годовому празднику, к Пасхе там, к Троице веток наломают, чабером духмяным присыплют полы, побелят и снаружи, и внутри, занавесочки покрахмалят да подушки вышитые навострят... И опять ничего не видят. Валяются железяки всякие и иной хлам. Другое дело тот же Корней! У него камень ежели лежит, так ему там и место. Для чего-то он там нужен. Травный луг при этом камне лучше себя показывает... Да и дом у Корнея — не сыскать таких в Глубинке.

Так размышляя, тащился Тишка к речушке, где в камышах ловил в детстве сверкучих пескариков прямо ладонями, засучив повыше брюки. Теперь Камышанка совсем обмелела. На дне одна жижа, и хилый камышок качал под ветерком желтыми сухими султанами. А чего тащился он к речушке? Да ещё по крутосклону? И не спрашивайте! Сам бы никогда не ответил. Постеснялся. Вот уже недели две соколенка выхаживает, дохлых цыплят скармливает ему. Может, и пескариков есть не побрезгует. Был уже у Тишки опыт — для соколиной охоты приручать сокола, да тогда опыт не удался. Старый кот, зверюга треклятая, заломал его. Так и не отжил крикун-соколёнок. Тут как на грех прямо перед ним возник Корней. Тишка процедил еле «Здравствуй» и раза три плюнул, пока стоял и думал, зачем же он тащился к речке. Разом помараки отбило. Он глядел вслед соседу и опять злился на него: «Надо ж, чепуху какую плетет, — думал он о Корнее, — да я б давно и сам в лесу приметил, ежели чего...» И тут он остолбенел, вдруг вспомнив, как в лесу около старого дуба однажды нашел огроменный кусок махана. Вонючее мясо приманило муравьев и зеленых мух. От какого животного или от какой птицы кусок — понять было невозможно, а теперь он подумал, что кожа на куске мяса была не то в перьях, не то в толстенных остюках. Тогда он тот огромный кусок скинул в яр и как мог загреб землей. «Вот те раз... Может, и Оно это самое было?! Может, от детёныша часть какая была?» — подумал Тишка, но никому не стал говорить, а когда бывал в лесу, был начеку. Глаз у него был цепкий. И подросшего соколенка таскал с собой, приручал к месту. Но выпускать из клетки боялся, хоть он у него и на голове сидел, и к руке подлетал.

По осенней мжичке угораздило Тишку отправиться в лес, намедни видел издали упавшую в яр, ещё полыхавшую одним крылом осину. Тогда ещё подумал: «Ни ветра, ни ливня не было, может, круча обрушилась в яр вместе с деревом». Теперь, не доходя метров пятнадцать до яра, почувствовал, что у него что-то с головой, бесчувственными стали руки и ноги, будто кто-то его загипнотизировал, но не до полной кондиции. Просто никакой воли его не стало... Назад всё ж ноги его бессознательно приволокли. Дома только и сказал: «Ксюха, мне дюже нехорошо».

Корнею через какое-то время при встрече стал раскланиваться, намереваясь позднее пригласить его на место, враз повредившее все его члены, отбившее ему помараки. Даже с женой он не поделился тем, что с ним произошло в злосчастном лесу. Ненароком и его станут считать соскочившим с ума, как и Корнея. Только сынишке Кольке сказал: «А ты, это, без спросу в лес не шастай с ребятнёй. Ноне неспокойно у нас...»

Полина, дочка Марийки и Павлика, к дядьке Корнею подбежала как-то с расспросами о «настоящем», не сказочном Горыныче, а тот, хоть и тянулся к девчушке всем сердцем, потому как остался бобылем по причине неразделенной любви к Марийке, он так и звал Полинкину мать, забывая о годах, а Полину — не иначе как Ягодиночка, но все ж не стал ничего говорить, понимая, что дитю не понять того, в чем и взрослые не дадут рахобы. Так или приблизительно так рассуждал Корней, а может, и стеснялся. Его заикания тем сильней ещё усугублялись, чем боле он путался и в мыслях своих. И как ему было не путаться, когда увидел в полста метрах от себя то ли ящера, то ли змея, уже и не помнит — была ли у него одна голова или больше, но что клубами валил то ли дым, то ли огонь синий — это точно. И казалось, с ним с неба подались и ещё поменьше два чудища. Долго не мог в толк взять Корней, почему все его мысли враз улетучились и он стал дурак дураком, статуей безмозглой, его крепкое тело вдруг обмякло, будто кто кости вынул, будто какой ток по нему пустили или разряд нервный, от которого не то что адреналин, а весь дух моментально выскочил... Даже и не помнит Корней, сколько в беспамятстве провалялся, не помнит, как приволокся домой безо всего... Охотницкое ружьишко прахом пошло. «Я не спятил, Яго-годиночка, и-истори-ия сом-мной приключи-илась у-удивитель-на-на-я. Но-но к-как рассказа-ать... ты, ты то-только мне-не верь...» — гладил суховатой рукой туго заплетенные в косицы волосы своей любимицы Корней. Могла б его дочкой быть, а полюбила Марийка его товарища. Так и не пришлось ей в любви признаться, опередил Павел, востряк и верховод. Такие всегда на виду, всегда впереди. А он что? Уши спекались от жара, когда видел Марийку. А Павлуха гоголем ходил. Умыкнул зазнобу, Корней и глазом не успел моргнуть. Может, если б пошустрее был и была б у него ка кая зацепка за надежду, да и некогда

ему было. Мало он выходил на гулянки на косинок луговины, где шумела молодёжь, как река полноводная. Мать на руках у него осталась после безвременной смерти отца, бородатого, высокого казака с Дона, которому молился, Доном-батюшкой называл. Нагайку перед смертью поцеловал и сыну отдал: «Блюди наш уклад! Надоть было отвезти на Дон вас с матерью, когда ещё не свалила её болезнь, а тут я чужаком в стае кувыркался...» Жена изо всех сил поднялась: «Степанушка, не бросай меня, я хоть выболела, а ты ж вон какой крепенький...» Но казак выдавливал из глаз мокрень, голос становил на крепость, чтоб волнения не слышалось, и бодрясь ответствовал: «Видать, на что-то я понадобился Господу, коли призывает он меня к себе. Не реви обо мне, Устиньюшка, отпусти мою душу...»

У Корнея в руках материнский костыль раскрошился, а слезинки в глазах, больших серых, отцовских, не блеснуло даже. «Крепок, сынка. Казачья, железная стать... Не погнётся ни перед ударами жизни, ни перед вражиной», — радостно сверкнули глаза у отца. И вся сила ушла на этот последний огонёк души. Прикрыл глаза батюшка Лазарь, не успел поисповедывать, но молился за него истово... Отпевали по старинному и читалка сама падала на колени и без конца кланялась, кланялась со всеми... Может, вымаливали у Бога на том свете жизни человеческой. Какая ж тут жизнь выпала на земле покойнику?! Одни постоянные мытарства... Вся молодость угорела от горящего Дона, нагаечного свиста, а каково было в камышах охотиться как на дикого кабана, на Тимоху, красного коммунара. Хорошо, что ни Стёпкина пуля срезала его, как камышинку или веточку. Молоденький, веснушчатый, то мамку, то Катеньку свою звал в тупом беспамятстве. Смотрел на него Степан, поотстав от казаков, слезы кипучие смахивал: «Да что ж это за время такое безалаберное! Не за власть пойдёшь воевать, а за жизнь путёвую, детей поднимать, землю поднимать, петь песни...»

И в каких таких грехах сознаваться ему было? В чем каяться? Перед ним бы на колени надо становиться погубителям казачьей воли, трудолюбия, поклонения Богу... Сами себе неписаные законы утвердили под многоголосье в Кругу казачьем: «Любо, братцы...» За что и степи рассекали лампасами, и шашки вострили, и в тифу валялись, за что и порубаны были под станцией Лихая, а уж как попались в станице Егорлыкской в двадцатом году самому Буденному, так и вспоминать страшно. Вот оно откуда и ранняя смерть Степана. Потом не раз в холодном поту просыпался казак, кричал во сне и хрипел, захлебываясь кровавой пеной... Поди теперь рассуди и деникинцев, и буденновцев. Правда в крови утоплена. И не может быть в мире такой кровавой правды.

...После смерти матери Корней чуть было не подался на Дон, о котором и сам уже тосковал. Таким заманным он казался после рассказов отца. И песни

все казачьи Корней знал назубок. И пел их, чуть прищурив глаза, будто представлял все, о чем пел. Но не уехал. Может, и дом держал, который вместе с отцом ставил «на века». Кто ж думал, что не окажется у Корнея наследников?! Теперь вот ещё беда приключилась — с чертовщиной повстречался! Пригорюнился, потускнел соколиный взор у единственного сына казака. И спина чуть качнулась к земле. Когда подуправится с хозяйством, сядет в светелке у окна, забудет о цигарке. Так незажженную и кинет... Полинке радовался всякий раз, принесёт гостинчик, в кармане припахший махрой, станет неуклюже застёгивать ей пальтишко или кофтёнку отряхивать: «Мамонька, наверно, на огороде чартуется, — подумает, — не заболела ли. Видел её, вроде, похудевшую». Но с Полинкой разговору не получалось, слишком мала была она, а Корней не мог никак спокойно выговорить ни имени Марийкиного, ни рассказать своей тоски по несбывшейся жизни. Нет, не заговаривай с ним, Полинка, ни о чудесах, ни о матери своей. Нешто можно словами выразить сердце?! Вон и Павла не может до сих пор простить. Разладилась дружба их! Хотя тот и не догадывается почему...

Даже если и не находилось естественного объяснения случаю, Корней не был напуган, как только прошло первое оцепенение, он думал, что даже если это сам дьявол, то он не страшнее, чем иные люди. Неудивительно, что сатана часто оказывался в руках проходимцев, творящих зло с помощью нечистой силы. Хотя дьявол есть дьявол! Нечего с ним якшаться...

Тогда, до войны, Полинка, сказками зачитывалась. И верила, что все сказки прежде были былью, и мать ее поддерживала. «К чему-тось появились они в небе. Может, Господь знак дал. А может, и живут ещё эти существа по лесам и болотам...» Отец Полинке говорил: «Не читай всякую чепуху, школа тебя скоро выправит». Он гордился, что дочку научил рано читать. И уж точно знал, что из нее выйдет толк...

Пошел в лес и не вернулся пастух, бросив в обед стадо во время дойки. Бабы одна за другой, подоив коров, скрывались в котлине, через которую надо до села добраться, оглядывались: «Что ж это коровы одни, куда Захар подевался?» Позднее нашли в лесной чаще. Непонятную смерть объяснили сердечной болезнью. Но многие думали, что тут не обошлось без этого сатанюки, Горыныча.

Пров говорил, что в лес теперь не затянет его никакая оказия, что птиц ему никто не мешает послушать и тут. В садах и в полях их водится великое множество пока еще, а для птички-невелички величиной с хату поставить надо капканище. Да только всем это кажется бредом... Уж так и повелось, что и на «пятачке», где мужики гуртовались по праздникам, и на рыбалке, где и тарань покуда ловилась, и жирная вобла, и лещец помахивал хвостом, сорвавшись с уды, и длинная, налитая жиром чехонь выскальзывала из рук — всюду он

сворачивал на скользкую тему, которая его ж самого ставила в тупик.

Горгониха — шустрая хозяйка чайной, пытавшаяся навязать трезвую жизнь мужскому сословию Голубинки, бросившая свою жизнь на алтарь одиночества, слывшая ведьмой из-за пристрастия варить всяческое зелье из лягушек и ящериц для растирания, для приворотов и припарок, сказала Прову, когда он пожаловал выпить стаканчик водочки и шепнуть пару ласковых словечек: «Этот Змей, мой соколик, уже над тобой, берегись его, и из дурной головы выкинь... Кружится он над тобой неспроста, тебе говорю. Что ты об нём всё время торочишь? Все в чайной говорят, что ты белены объелся, никак про Змея Горыныча не забудешь!» — «Ты, Кармен, меня не пужай. Я и медведя обломал, ещё когда парубковал», — смеясь одними глазами, отвечал Пров. Имя Кармен прилепил он Горгонихе на сельском празднике на масленицу давно. Как на метле летала и пела и выплясывала его тайная полюбовница с красной геранью в тугой копне черных волос, а кольца так и вились над розовым ушком, над высоким чистым лбом. Тогда он ещё подумал: «И кому в голову пришло называть ее ведьмой и Горгонихой? Красотка! А уж улыбается на все тридцать два зуба...» Никто и подумать не мог, каких трудов ей стоило наигранное веселье! Одна пламенная страсть у неё появилась. Жить как все люди! И себя забыть, родиться снова, чтоб в жизни было всё хорошо и ладно. Но ничего забыть она не могла. И не верилось, что всё, что случилось, случилось это с ней. И заглядывавшие в чайную порой видели её в слезах, но никому она ничего не могла рассказать, а тех, кто пытался залезть ей в душу, отваживала неожиданным горячим словцом.

Убила она отчима в сарае вилами, когда он ее, восьмилетнюю, изнасиловал на соломе в сарае. Тогда же и убила! Услышав его храп, выползла из-под тяжелой, цепкой руки и, повиснув на вилах, вонзила их в ненавистного, и кинулась в стоявшую у входа в сарай кадушку с водой и скрылась с головой. Раза два выныривала, а потом не захотела на свет Божий глядеть. Схватившись за края кадки, неимоверным усилием стала вдавливать себя в дно. Уже переставала булькать и разливаться вода, когда в сарай вбежала мать, вернувшаяся с фермы. За волосы тянула уже почти захлебнувшуюся дочь, переворачивала вниз головой. Бог не дал сгинуть касатушке. Открылись глазенки... И стала Настасья лоб поклонами расшибать: «Господи сохрани и помилуй, девочку мою спаси».

Когда увидела мерзавца в крови с куском Граниного платья в руках, все поняла разом, и крик её сразу сорвался, как подрубленный, а хрип — спугнул воробьев, гуртовавшихся под крышей. Дочь подумала, что умирает мать, испускает последний дух, и поползла к ней, собрав последние силы. Но Настасья, вспомнив всё, трепыхнулась, нашарила косынку, сметала растрепанные волосы, кинулась: «Гранюшка моя, моя кровиночка...» И все.

Замкнула свою боль, ломанула ладонью трясущийся подбородок. Подняла, как соломинку, дочушку свою — и откуда сила взялась!
Укачивала долго, шептала, как полоумная: «Тебе, Гранюшка, солнышко моё, приснилось. Ничего не было. Деточка моя... прости меня, я это всему виной! Не надо было его, гада, привечать, должна я была распознать его звериное нутро».

Не помнит, сколько просидела возле уснувшей наконец дочери. Вся её жизнь промчалась и пропала вдали. Она облизала сухие, с запекшейся кровью, искусанные губы, прикрыла одеялом вздрагивавшую во сне дочь, сорвала белье со своей кровати, чтоб духа поганца не было в избе, и хватала всё, что под руки попадется, носки, рубашки, майки, кожушок... «Всё спалю», — думала лихорадочно. Взяла возле грубки бутыль с керосином. Слабенький огонек от свечки высветил лицо примака. Напряглось все тело, будто влили в него силу великую. Хотелось колоть его вилами ещё и кромсать, но она вытащила вилы, воткнутые в шею и в грудь, видно, один рожок вонзился в сонную артерию, отбросила в сторону и вылила из бутыли весь керосин... Корову гнала к двери уже и не помнила как. Огонь загудел.

Никого не звала на помощь, ожидала, чтоб нельзя было потушить пожар, а на крики людей выскочила в ночной сорочке и тут уж дала волю крику и вою, и слезам. Голосила и кричала так, что люди боялись — не тронулась ли, бедолага, умом. Откуда им было знать, что не примака она оголашивала, а своего ребёнка. Как жаль ей было и себя, и своего дитя. А когда её Гранюшка появилась в чёрном проёме двери, кинулась к ней и умолкла, подхватив на руки девочку. Соседи привязали корову, бегающую по двору с выпученными глазами, загнали в конуру хрипевшую уже от собственного лая вислоухую собаку Мальму... Тело примака обгорело плохо, видны были побуревшие пятна крови, да только, что это была кровь, могла догадаться только Настюха. Все думали по пьяни сгорел мужик. И такие же страдалицы, как Настасья, тихонько переговаривались: «Может, опомнятся алкаши! Всем бы им, чертовым паразитам, поджарить яй... пьянюги проклятые...»

Гранюшку в больницу всё же пришлось положить. Бредила и металась. От матери отцепить её было невозможно ещё долго. Врач качала головой: «Её же психологу показать надо. Тело вылечим, а вот душа загублена...» «Зашепчу молитвами душеньку её, заботиться только об ей и буду, — думала горемычная Настюха, когда ехала на попутной подводе из райцентра домой, — а коли не выйдет, к бабкам кинусь, к знахаркам».

На кусок хлеба зарабатывать было непросто. Мыкалась по дворам, стирала и белила, копала огороды. Своё подворье пустила на ветер. Муж, умерший от непонятной скорой болезни, сказал бы: «Опамятуйся! Сколько вам надо еды той, не рви своё здоровье...» А Настёна показывала наряды Гране, показывала деньги: «Уедем, дом купим, всё забудется». И всё порывалась уехать куда-

нибудь, то к весне, то к лету.

Умерла в одночасье от инфаркта. Граня людскую помощь принимала с достоинством. И так же, как мать, пошла на заработки по дворам. А в магазин ее взяла соседка. Сначала убирала, помогала стучать костяшками, и продавщица, болевшая ногами-тумбами, всё чаще доверяла Гранюшке торговлю.

«Вот видишь, в школе хорошо училась и кого хочешь за пояс заткнёшь в грамоте...» И ни одной душе не догадаться было, какую чёрную страницу написала судьба для Грани в один из дней её короткого детства. Но всё лечит великое Время. Заневестилась Гранюшка, заглядываться стали на неё лучшие парни. Околачиваются часами около магазина, словно нет места лучше. Виду не подают, что из-за Грани они гуртятся и шуткуют здесь. И стала отвечать улыбкой Граня Тимошке, трактористу из тракторной бригады, выглядывала, когда он проезжал на своей тарахтелке мимо магазина. А только он потянулся к ней, только коснулся жаркой рукой её щеки, ударил ее ознобной волной тугой мужской запах пота, въевшийся в каждую клетку её сознания. Побледнела и покачнулась, бурые пятна выступили на лице ее, на шее. «Порченая девка, — мелькнула мысль у жениха, заелозила боязнь мурашками по спине. — А что ежели окочурится тут?» Тимошка бережно посадил её на завалинку. И — канул. Да что там Тимошка! Сколько ещё их было, женихов незадачливых! Не могла Граня вытерпеть прикосновения мужского. Её вдруг пронизывала запомнившаяся боль и необъяснимый страх бросал её то в жар, то в холод. Она осеняла себя крестом: «Помоги, Господи, не оставляй меня! Как же мне одной по жизни мыкаться?»

Один обидчивый и неумный ухажёр, оставив попытки добиться взаимности, назвал Граню в компании парней «притруханной», что означало ненормальной. Граня вызывающе смеялась над парнями, отваживала их всех неожиданными вспышками гнева и решила осуществить давнюю мечту матери «уехать, куда глаза глядят». В магазин ещё заявлялись вздыхатели и просто — покупатели, но болезненная продавщица, недовольная, что ее помощница «завеилась», на вопросы «А где же Граня?» отвечала грубовато: «Черти с квасом съели...»

А та жила у бабушки-травницы в соседнем селе, помогала ей собирать травы и варить снадобья. Только снова и снова приходил к ней отчим-бугай в своем непристойном обличье. Она кричала во сне. И ничем ей не могла помочь бабушка Марго, знахарка, в прошлом Маргарита, еврейка, у неё украли Сонечку цыгане, и она чуть с ума не сошла от горя. Много лет торила тропки к цыганским таборам, пока не потеряла всякую надежду. У её мужа, Марка, отнялись руки, и она всё старалась его вылечить всякими снадобьями. Мужа похоронила. Хоть и стали его руки движимыми, а к травам пристрастие не прошло. И кормиться стала знахарством. Согнуло её только дугой. Наверное, от

поклонов каждой травинке. Уже полюбившая маявшуюся непонятной тревогой Гранюшку, она, глуховатая, полуослепшая, вглядывалась в икону, просила успокоения для Грани, урезонивала дух смятения, оставленный, видать, самим Сатаной. «След енто Сатаны у тебя в душе, девонька, молись, молись и ослабнет и сотрётся со временем ентот след!» — говорила она уходящей по проулку Гране, хоть та уже и слышать её не могла. И отсюда покатилось колесо её судьбы, полетела она, как листок зелёный, оторвавшийся от ветки. Только разве можно уехать от своей судьбы, тащилась она за нею всюду, ожесточала сердце тупая боль.

И в Голубинке ей казалось, что все знают, что она, ещё совсем в юном возрасте совершила тяжкий грех, и теперь нет и не будет у неё никогда счастья и покоя. Убив своего мучителя, она убила себя прежнюю. Не Бог ей дал эту жизнь, нет! А тот, кто против великого нравственного закона жизни. Она всё чаще думала о том, что вилы ей вложил в руки кто-то другой, а не сама она их схватила. Да и сил не хватило бы у неё убить здоровенного мужика! Её руками покарал насильника кто? Ведь не Бог же! Его первая заповедь: «Не убий...»

В чайной обрадовались помощнице. Она продавала своё время рабочее совсем недорого. Некуда было ей спешить. Купив домишко, ещё пригожий, неподалёку от чайной, стала жить скромно и нешумно, хотя мужчины колыхнулись к ней поначалу. Одного встретила лунной ночью у порога с топором, и мужика до смерти напугала, и сама похолодела от своей выходки. После этого случая её стали за глаза звать медузой-Горгоной, и как будто очень понравилось многим так называть её. И сама Граня только усмехалась: «Вы даже не знаете, как точно меня называете так». И пошло-поехало: «Горгониха то да это... Пойдём к Горгонихе в чайную...»

Прова завлекла Граня от безысходности. Вдруг сама решила, что мужицкое плечо вылечить может её, а Пров кочевряжился, не отвечал на откровенную тягу к нему молодой женщины, встретившей с топором ухажёра, а потом, после очередного скандала с женой, пошёл в чайную и сидел за столом, не одну бутылку пива тянул до закрытия заведения, молча наблюдая за Граней. И только выйдя из чайной вместе с Граней, кинулся к ней. Неистовая ночь, одна из тысяч, повернула жизнь Грани и Прова в сторону от наезженной части дороги. Прислонила их друг к другу. Жаловаться стал Пров, что женился на своей дурёхе, Капке. К тому ж, так и не дождался он от неё ни сына, ни дочки, а у Грани уже стучится в дверь жизни ребёнок.

В лес таскаться и по грибы, и за дичью Пров и вправду перестал, то ли Граню послушал, то какая сила его удерживала, но он его волновал и манил, и Пров уже чувствовал, что вскоре лес его заманит, как заманивает и сама Горгониха: «Присушила ты меня, моя Кармен, моя колдунья, своими травами и сладким зельем. Перейду к тебе навовсе, разве это жизнь! По ночам блукать

буду до старости што ли... Да и о маленьком сынишке нужна забота», — шептал он, засыпая в ласковых объятьях Грани, но она вскакивала, тормошила Прова, начинала плясать, да так, как будто кто с нею тоже плясал, невидимый, тут и Пров не выдерживал, кругами ходил по хате от настоечки огненной что ли... А потом пенял ей: «Подумать только! Пляшет, как ведьма, а об ребенке не подумает...» Куда там! Только о ребёнке думала. Поверить Граня не могла в своё счастье. Уже и покупала младенцу одёжки...

Однажды Пров плюнул на страх, с Корнеем пошёл за опятами в лес. Как всегда, подались в разные стороны, и уже часа через два Корней не докликался приятеля. С полной корзиной опят приволокся в Голубинку, заикаясь, как мог объяснил, что Пров почез в лесу. По тёмному в лес люди не сунулись, да и надеялись, что отыщется грибник сам, мол, поблукает и вернётся, но жена Прова, Капа, до зари стала стуганить в ворота: «Айда, мужики, должно стряслась беда». Граня похолодела, узнав, что Пров пропал, схватилась за живот, уже и люди знали о её беременности. Судачили. А кому какое дело? Сам Бог велел одинокой обзавестись семьёй. Сразу никакой надежды не осталось. Что-то молодой женщине подсказало, что она осиротела. Давно предчувствовала беду: «Не послухал меня! — завыла, упав на кровать, — не поверил мне, я ж говорила, чтоб не совался в лес, — слезла на пол Граня и раскачивала головой, подметая рассыпавшимися локонами пол, — осиротил свою Кармен».

Прова нашли над яром, около старой высохшей осины с торчащими вверх корнями, упавшей в яр богатой, уже высохшей кроной. Тогда сюда не смог сунуться лесовод Тишка. Доныне он обходил это место стороной. И сейчас, сторожась чего-то, топтался позади всех. Точно уже он знал, что ни Корней, ни Пров ничего не выдумывали. Было это Оно в лесу его, а он, Тишка, как последний дурак смеялся над Корнеем и над Провом, за всеми повторял: «Нелепицу ты городишь! Свихнулся». Вот тебе теперь такой коленкор.

Опята валялись вместе с туеском поодаль, а несчастный Пров, будто его пригвоздили к стволу старого бука, в неестественной позе застыл. Глаза навыкате, и в них ужас остекленел. Тот, кто глянул в глаза Прову, тотчас вздрагивал и холодел. Капка увидела мужа и отшатнулась. На нее смотрел совсем не Пров. Так перекосило все черты его лица. Она и сама откатилась от мужа в страхе и забилась в глухих рыданиях.

— Глядите, глядите, Корней в обморок упал, — кричала Верка Першина, подруга Капы.

Когда Корнея отходили, он указал на след странный и огромный, глубоко ушедший в землю, хотя и другие следы были еле приметны:

— Это он, Змей Горыныч, или сам дьявол крылатый оставил своё сатанинское тавро. Видите, других следов нет! Оттолкнулся гад своей лапой и

полетел. Я его так и видел! Когда я закричал, то мой собственный крик летел, как гром во все стороны, порвал перепонки, аж из ушей кровь брызнула...

Все заметили, что после обморока Корней заговорил без единой запиночки.

— Тавро сатанинское его напужало, — опять тараторила Верка, — и дар речи обрел Корнеюшка.

— Выходит, что не Корней ополоумел, а мы, дураки, неспроста и Пров кончился, как увидел этого сатанюку.

— Зря мы их не слухали. А то не взяли в голову, что без огня дыма не бывает...

— Теперь-то мы умные задним умом, — раздавались голоса со всех сторон...

Горгониха, тихо подошедшая в чёрном платке, стала с корней осины смахивать перо стального холодного цвета.

— И как это перо мы раньше не заметили.

— Да кто ж подумает, что это перо? Это ж циновка целая!

А перо шевельнулось и полетело в яр, где таких перьев было не сосчитать. Граня тяжело подошла к Прову и, присев на корточки, закрыла веки его ладонью, что-то прошептав, и, не пытаясь больше таиться, затряслась, прислонясь к его окостеневшему плечу... Ушла так же тихо, как и пришла. И только те, кто знали про тайную связь Прова и Горгонихи, пожалели знахарку... А другие «Вон оно что!» — подумали. «Какая непонятная она. То смеётся, как полоумная, то плачет, на мужика какого окрысится, а то и с дубинкой погонится... А вот Прову она доверилась... Чужая душа — потёмки», — подумал Корней. Он-то знал, как прикипел к ней Пров.

Где-то за буграми лесистыми раздался то ли бабий крик, то ли вой волчицы и спустя малое время затих. Что это было? — кой-кто ошалело глянул в сторону, откуда прилетел непонятный вопль. Да только кто обратит на это внимание сейчас, в самый пик людского переполоха. А иные подумали про сатану. Оробели. Понятное дело, не одобрялось в народе любое заигрывание с дьяволом, а он тут околачивается, среди людей...

Сразу стали вспоминать, как Пров говорил, что если послухать Корнея, то их забытая Богом Голубинка сохранила целехоньким самого Змея Горыныча. Не брешет он. Зря, выходит, что никто его не принимал всерьёз...

Змей Горыныч поселился в умах и сердцах и не хотел никуда деваться. Раза два-три кто-то ещё встречал след Змея Горыныча, и пошли слухи, что неминучая беда скоро приключится в Голубинке, коль этот гад поставил тут своё сатанинское тавро. Но переполошная история канула, хоть и не бесследно. Корней, оправданный случаем с Провом, переставший совсем заикаться, стуганил на своем подворье, строил голубятню, катал с огорода здоровенные тыквы. Тишка опять что-то там приобрёл диковинное. Горгониха бросила чайную и занялась воспитанием дочки, и к ней повадилась Капка. Не чужие

ведь...

Слухи о германце, перешедшем советскую границу, отбросили прежнюю жизнь голубончан. А потом уже сама война явилась в своём жестокосердном сатанинском обличье. Никаким Горынычам не сравниться было с ней.

Война в Голубинку заявилась проводами мужиков, криками женщин и детей, исковеркала судьбы. Перевела на золу лучшие дома. Голые трубы печек торчали из разрушенных останков домов, как воздетые к небу руки матерей и жён. Ослепли от слёз глаза сирот. Как печёные яблоки, почернели вдовьи лица... Полина, знавшая своё село назубок, как и все подростки, теперь не узнавала его. По улицам и в речке не гоготали больше гуси, не шипели кряквы, не валялся в луже напротив Шалдеихиного двора грязный кабанчик, а то и два. Возле сельсовета в любую пору гуртовались люди, и туда устремлялся каждый, кому не лень, кому выпал короткий час отдыха. А где же ещё узнать новости, поделиться наболевшим? Теперь хоть шаром покати по улицам. Вымерла Голубинка, казалось.

Но, за жизнь цепляясь, каждая травинка и букашка, и Полина торопились взрослеть... Не очень-то приятно, когда тебя каждый хотел пожалеть...

Дни пробегали один за другим. Наполненные заботой о матери и беготней то в сараюшку к однорогой Юльке, то в подвал за огурчиком или помидорчиком, колготой возле печи — дни эти были похожи, словно близняшки, не запоминались. Иногда Полина выходила за калитку, стояла стройная, с высоко запрокинутой назад головой. Казалось, что под ноги ей смотреть и незачем. В тринадцать лет она переросла Лидку Пасашиху, свою подружку, а по своей сдержанности и рассудительности, пожалуй, обогнала другую свою подружку Клавку Подколзину, которая была постарше их с Лидкой. «Во, старая, во какая додельница, — говорила про нее Елдашиха, — знать Господь готовил ее к испытаниям заране». У Елдашихи был муж из Турции и «придбал» бабу — как говорили, муженёк сотворил из неё «чудо несусветное», поскольку натаскал с базара ей цацек сверкучих, шалей и пёстрых юбок. Но именно эти одежды и принесли ей славу красотки, на неё хотели походить девчата и гордились её бусами, когда она кому их дарила. Полине Елдашиха тоже сделала подарок — красивую шаль, но не ко времени был подарок. Как тут радоваться, когда мать угасает. Шаль она отнесла Гране, когда проведывала маленькую дочку её... Ох и ладная девчушка! «Ветерок ты мой, — кидала под потолок мать Галочку, — в мамку вся вышла. Чёрненькая, как крыло грача...» «Тише ты, Грань, ненароком упустишь...» — подбегала Капа, которая маленькую Галочку не спускала с рук.

Мать, слёгшую после похоронки, дочка выхаживала как могла. Как она старалась! И соседи часто говорили: «Марусь, сколько их было похоронок тех? Листьев на ветках в лесу меньше. Ослобони себя от слёз...» Не отпускала сердце боль. Вонзилась, как клещ, и пила кровушку. «Я-то что, — качала

головой Мария. — С великой радостью бы родилась заново, для дочушки жила бы... но куда же деваться? Не прикажешь сердцу не болеть... оставила отметину война проклятущая! Что ж она рази ж одних людей убивала? И детство, и любовь, и весь житейский уклад... Всё, всё полетело вверх тормашками...» Она заливалась слезами, закрывала лицо подушкой, что лежала у неё на коленях, прятала слёзы от дочери. И исхудавшая она оставалась красавицей, её тёмно-синие глаза за длинными ресницами напоминали ей то время, когда она глядела на себя в зеркало, о густо-синем вечернем небе, что расстилалось над старинными кварталами Баку, куда она с Полиной и с мужем попала нежданно-негаданно по приглашению родственника мужа, застрявшего там в смутные годы гражданской войны.

Сколько ни вспоминала Мария свою жизнь, эта поездка в Баку была самым замечательным чудом в её жизни. До того ей понравились и плавания на белом катере по Каспию, и чайхана, над которой развесились ветви с большими листьями-ушами невиданного доселе дерева, и соблазнительный запах жареных на живом огне шашлыков, и удивительная музыка, от которой кровь начинала бежать то в обратном направлении, то застывала на мгновение и пробуждала в душе незнакомые доселе чувства. Павлушка, потрясённый красками другого мира, только потирал ладони, качал головой, не находил слов, чтоб выразить восторг. А родственник, дядя Нико, ещё и ещё хотел порадовать родичей, не давал «опамятоваться», как смеялся Павлушка. Он так же, как и Мария, вспоминал после и дворец Ширван-шахов, где, говорили, были темницы с тиграми, которых кормили непокорными. Ещё там томились красавицы, обласканные мимолётными увлечениями великих.

— Тебя бы, Мария, точно приметил бы какой-нибудь визирь или там ещё какой-нибудь богач. Тебе и в подмётки бы не годились восточные красавицы! Они тонкие, как змеи. И глаза у них, погляди, прямо жалят...

— Скажешь тоже, Павлушка, у них же свой женский тип красоты, — встряхивала головой Мария. — Кто там на меня бы позарился...

Она замотала головой и украдкой глядела в окна на своё отражение. На себя Мария любила смотреть и на Павлушку тоже. Вон какой он у неё! Глядите, высокий, стройный! А мимо проходят азербайджанцы, так — мелкота. Ну что ж, что смазливые на лицо...

Никак не могла понять Мария, зачем с такой упорной настойчивостью к ней возвращалась поездка с мужем в Баку. Она подолгу сидела молча одна, когда Полинка занималась хозяйством каким-никаким, да и огород на ней. И двор с собакой и курами, и плита, где ребёнок и обжигался не раз, и чугунок переворачивал. Попробуй справься с этими рогачами да с чаплями! И жаловалась Павлушке: «Угомонился ты в пустой воронке, — писали, среди сосен, — знать не знаешь каково твоей Поличке, твоей крохе, а если бы знал,

поднялся бы из ентой страшной могилы и пошёл опять бить фрица! Ишь какой тарарам от него на земле! Какой разор... А за Полиночку, что не порадовалась детским незамутнённым годам, я и сама бы пошла на фашиста. Так он, гад, и без меня капитулировал. Всё равно б его раздавили! Не может быть такого порядку на земле! Бог не позволил бы...»

Сердце наполнялось тревогой и жалостью к малолетней дочери, и она звала её, пригартывала к груди. И Полиночка, бывало, ни слова, ни пол-слова не говорила, чувствуя, как гулко и страшно бьётся больное сердце матери, чтоб не переполнить чашу страданий. Она начинала обнимать и целовать мать, гладить её плечи и спину. Два сердца барахтались в приливах и отливах переполнявших их чувств, которые подобно океану неустанны и неусыпны. И, бывало, измученные и мать и дочь, обнявшись, так и засыпали. Время проходящее, может, и притупило бы боль, заставило бы увидеть мир, который преображался, хорошел по мере того, как откатывалась всё дальше и дальше война. Но болезнь Марии ни на шаг не отступала, а уж как вдова цеплялась за жизнь, как иступленно она молилась, желая остаться подольше с дочерью на земле!

...В послевоенной жизни Голубинка, как и Держава вся, собирала обломки судеб, тянулась к любви и к вере, но нищета, как голодная собака, выскакивала из-под ворошен, норовила укусить побольнее. Но голубинчане непочатый день старались не пустить на ветер, впрягались в посевную и косовицу, жили какою-то радостью земли. На голых подворьях продувные ветра трепыхали ветхое стираное бельишко, как волхвы бормотали поскрипывающие старые акации, будто бы зашептывали раны болючие...

Мария отошла тихо. А перед смертью не отпускала рук Полинки, словно хотела остаток сил отдать сиротинке, так она звала свою дочь за глаза, чувствуя, что силы ее тают. «Вот видишь, как ты меня подкосил! Пуля вражья и меня зацепила намертво», — мысленно она обращалась к мужу.

Так последний миг жизни Павел разделил с любовью своей, и не он ли помог ей вознестись в сверкающем свете на небо, и не так ли зацветают новые созвездья?

Похоронили честь по чести. Корней Степанович все заботы взял на себя, даже возле стола поминального крутился, всё чтоб было честь по чести... «Марийка, Марийка, — кидал глаза на гроб, — что с тобой сделала жизнь! Какой же ты была кипучей и голосистой! Глянула бы счас на моё сердце, увидела б, какое оно изорванное на части, как трепыхается, будто упавший на землю подранок. Лебёдушка моя, теперь сердце моё будет кой-как трепыхаться. Без тебя какая это будет жизнь? Пули вражьи и осколки все ты, поди, рукой отвела от меня, а любовь моя к тебе вот сейчас и докапает...» Он опустился на табурет, стоявший у гроба, потянулся подрагивающей рукой к лицу умершей и стал его гладить и поправлять бумажку на лбу с изображением Богородицы.

Черный крест на уголке подушки, гробовой крест с перекладиной, пришитый кой-как, сгреб ладонью, сам того не замечая. «Господь с тобой, Корнеюшка, — стал разжимать ладонь его стоявший рядом Тишка, — опамятуйся...» И видя, что Корней стал валиться на край гроба, подхватил его и усадил покрепче на табурет... «Геройский красный командир, — сказывали земляки, воевавшие с Корнеем Ивановичем, — как запечных тараканов давил фрицев, ничуть не боялся смерти, а она сама его сторонилась, будто...» Пришел без единой царапины на теле. Только забурунная метельная седина засыпала всю голову, да один глаз чуть с прищуром остался. Справившись с минутной слабостью, больше не глядя на покойницу, хозяйским оком отслеживал привычную для всех церемонию похорон, время от времени подходя к Полинке. Тихона он усадил на табурет, где сам сидел, сказав ему, чтоб тот не «рыпался». «Куда тебе с костылем? Всё будет по уму... — сказал он ему тихонько. — Видишь, сколь народу натолклось. Любили Марийку многие».

Тихона продолжали звать просто Тишкой: «Его война ковырнула своим сетным рылом так, что он полетел кубырем, — говорили про него. — И как только вывернулся? И как только очапался... Живучая людская порода!»

Мыкался по свету с отшибленной памятью Тишка, зарабатывал руками на хлеб. Ничегошеньки про себя вспомнить не мог. А память пришла к нему вдруг среди ночи по милости Господней и кинула его в омут прошедшей войны. Не сразу сообразил, что о войне уже и подзабыли те, которые не получили от нее ни увечьями сиротства, ни ещё какой страсти. Тихона отправили «всем миром» из уральского села Синичихи, куда попал он «а черте как» — так отвечал, когда о том спрашивали. Ехал домой с войны солдат, сердце готово было разорваться...

Маруся, подруга его бедной погибшей в бомбёжку жены, приютила его в пустовавшей хатёнке. Потому как от своего угла осталась только куча золы, поросшей бурьяном, саман от дождей размяк и угомонился в яме, оставшейся от бомбы... Осталась в той яме и любимая жена Тихона, Ксюша, и его сорванец Колька, его опора и надёжа, его вечный спутник по скитаниям. Думал, что из него такого же лесовода, как он, вырастит. Боль свою заглушал работой... Всю живность богатого его подворья война разметала. Только сад ещё по весне горел многоцветьем. Тихон на погибельном месте поставил колоколенку и ходил туда молиться. Строил дом, помощники находились. Укороченная нога болела. «Стервужина», — жмурясь от боли, шептал Тихон. Подворье мечтал восстановить. Ему говорили: «Тишка, свою привычную роль забудь... Куда тебе с одной ногой с хозяйством затеваться...» А у Тихона один ответ был: «Поклоняюсь каждому оцветию, каждое сверкучее копытце люблю... Нешто можно».

И Полину бил колотун, она массировала то живот под тонкой рубашкой, то

костистые плечи, но никакого тепла не намечалось, немело тело от стынущей крови, зубы стучали и подтянутые к самому подбородку колени были холодные, как длинная ночь за пушистым разрисованным морозом окном, сквозь которое всё же виднелась уходящая смутная луна и качались вымахавшие чуть не под самую крышу кусты кудрявой белой сирени. Теперь-то, конечно, никакая она не кудрявая была, а голая и вся насквозь промерзшая, и Полине не верилось, что она опять брызнет во все стороны набухшими почками, потянется по тонким стволам зеленца, а к маю и белые кудряшки сверкнут под лучами солнца и опять будут мимохожие качать головами, дивиться чуду и заказывать веточки молоденькие, авось выскочат. А как же не выскочить? Куда им деваться. Все и расти должно, и цвести, и радовать людей, как им без радости жить? В ней-то и весь смысл, она-то и помогает людям уцепиться за край новой надежды, как вешняя, обогретая солнцем земля помогает травинке укорениться, пробиться к солнцу зелёными каплями новых побегов.

В который раз Полина заворочалась, наматывая на себя сбившееся в ветхом пододеяльнике, стеганное матерью атласное красное одеяло. «Гляди, Поленька, турка привез своей крале, а та отказалась валандаться с ватой. А я ей картохи два чувала дала. Нам за глаза оставшейся хватит. Отрез как раз на одеяло, заря полыхнула у нас живая...» — услышала голос покойной матери Полина и дернулись, затряслись ее плечики, скрипнули от ветра притворы на окнах, подушка ледяная замокрела. Она стала гладить холодный атлас одеяла, с благодарностью думая о «турке», его ещё некоторые называли елдашом, который, может, и из самой Турции привез этот кусок материи. И оказалось так кстати! Как порадовал он мать, да и Полина в него заворачивалась, кружилась по хате, и никаким чувалами картошки не измерить радость. Успокаивалась понемногу сирота, угревалась, но опять на неё нахлынула такая одинокость, что слёзы полились сами собой. «И состариться не успела маменька, а Господь забрал», — тихонько стала заоконному ветру подголашивать сирота. — Господи, помоги мне успокоиться и укрепиться душой! — уже без слёз стала Полина просить Бога, упав на крашенный ещё покойной матерью деревянный пол, и иступлённо кланяться, пытаясь в темноте разглядеть глаза Николая Угодника, но сверху равнодушно поблескивала тускло фольга, украшавшая икону. Она нашарила спички на угловом столике, и вспыхнул язычок лампадки перед образом, и глянули на Полину глаза, показалось, полные слёз и до боли знакомые... откуда-то полилось пение, стали слышны слова: «...Святы Боже, святы крепки, святы бессме-е-ртны-ы помилуй нас...» Этот многоголосый хор ей слышался не впервой, а на самом деле лишь однажды она его слышала в городской церкви, куда в пасхальные праздники с матерью ездила совсем маленькой ещё. Ещё до войны. Детские голоса в хоре казались чарующими,

ангельскими звуками неба, льющимися из церковного купола... Уже не ребёнок, но и до пробного даже полёта крылышки не оперились. И как ей летать ещё учиться? Кто ей подставит сильные крылья, когда она кубырем полетит, не справившись с головокружительным паденьем в неизбежное? Не эти ли страхи так беспокоили сироту? А мало их, желторотиков, выпало из гнезда в военное лихолетье? Поди посчитай...

В окнах засерело. Полина отбросила одеяло, ногами расправила половичок, руками нашарила шерстяные носки, оделась быстро, куда там валандаться, когда зуб на зуб не попадает... Зажгла газовую плиту. В чайнике воды было маловато, но не стала добавлять, хватит на стакан чаю. Газ привозной, чего ради его жечь. Баллона должно хватить до тепла. Свет не включала — будет дядя Тихон тревожиться. Хай дрыхнет. Она представила его каморку, которую убирала иногда. Чаще не разрешал жилец. В каморке всей красоты — большое окно, которое и цветами не разрешал заставлять и стол к нему притулил, на котором все его мастеровые причиндалы имели своё законное место. Он называл их помощничками. Починит, припаяет, приладит к вещице отломанную сработанную детальку — любо-дорого глянуть. И самому забава, и какое-никакое награждение. А чаще скажет: «Иди себе с богом, откыль у тебя у самой ноне богатства. Мыши, поди, посбегали, чтоб от голода не скочевряжиться».

Детишки любили околачиваться у завалинки, ждали, когда к ним снова приковыляет дядька Тишка, запалит цигарку и будет в сотый или двухсотый раз рассказывать про немца, который только «спервоначалу был гирый и собирался подмять державу, как какую-нибудь дев...» — тут Тихон смолкал, кашлял — ни к чему мальцам такие сравнения. Сами в свой срок узнают... они и без того ноне больно грамотные... Но зря и фашиста он пытался показать совсем никудышним, примолкал ненадолго. Кидал свою «культяпку» — как он называл ненужную обезображенную ногу — вперед и говорил: «Наворочал гад делов...» И тут у Тихона хватало красок разрисовывать и дороги с искалеченными зверски людьми танками, полуторками, гаубицами, тянущимися медленной вереницей замореннными пехотинцами в заляпанных изорванных шинелишках, в вылинявших от солнца гимнастёрках, разлезающихся на плечах, с чёрными лицами, в обмотках вместо добрячих сапог, которые, бедолагам, не снились даже... И погружённые в темноту подбитые со всех сторон города, глядящие на белый свет пустыми глазницами окон, и села, и баб, бегущих к теплушкам с буханками горючего хлеба, замешанного на слезах, с бутылями молока, подвязанными бечевками, которые истошно кричащими выплаканными глазами спрашивали: «Ну как там, братки?» А солдатики опускали глаза и ничего не отвечали, не отвечали ничего, потому что не знали, как оно доле повернётся. Докуда фашист «дочапает», что

будет с детворой, с жёнами и матерями, с бедной родиной, которая, мобудь, и язык свой забудет... а уж какие песни и сказки на языке этом сложенные, а каких шуток-прибауток весельчаки пооставляли... Мальцы притихали, сами смахивали со щёк слезинки, потому что Тихон не мог равнодушно рассказывать. Он, качая головой, говорил: «Ребятушки, у меня война эта всю душу выматывает, пропади она пропадом», — и не стыдился слез...

После рассказов о войне самого натурального очевидца долговязый Димка, старшак на улице Полотняночке, тащился через всё село в библиотеку и загребал все подряд книжки «про войну», радуя Анну Леонидовну:

— Что ж так много берёшь? Сам читать будешь?

— Не-е, на всю улицу. Куда там малятам тащиться на край света. Ну и село у нас растянулось!

— Ничего, сейчас люди строятся, собирают копейку, а потом и автобусы у нас будут, — заглядывала ему в глаза библиотекарша. — А я вам и сама могу приносить иногда, все равно таскаюсь с книгами к чабанам и на свинарник в третье отделение. А читать надо. Жизнь узнавать можно по книжкам. А дурака валять нечего... Время — это золото...

Анна Леонидовна была уверена, что дети должны знать о том, какая великая Победа была им поднесена на «блюдечке» и сколько жизней она стоит. Сама она любила приходить в школу по приглашению и читала детям или отрывки из романов, или рассказы, или стихи. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди... — звучал её тихий голос, — жди, когда наводят грусть долгие дожди...» Библиотекаршу любили и учителя. О ней писали в журнале «Огонёк». И даже на обложке была её фотография. Анна Леонидовна стала частым гостем не только на улице Полотняночке, но её ждали и на улице Заречной, и на отколовшейся Бушминской, где верховодил цыганёнок Мотя. Ему книжки выдавала Анна Леонидовна с большим скрипом, потому что он возвращал книги запятнанные жиром, растрёпанные. «Смотри, Мотя, книги эти сто сот стоят! Без книги не будет у нас никакого порядка. Люди с головой хорошей нам нужны, а не с набитой соломой головой! Или, к примеру, с головой, в которой один ветер гуляет».

Письма и статьи в газету писала Анна Леонидовна с ошибками, и никто её за это не укорял, потому что она была по всем статьям правильным человеком, а на правильных людях, известно, держится жизнь. К большому горю библиотекарши, собственный внук ее «подкачал» или сбили его с панталыку уличные мальчишки, или погубили мачеха с отцом, который мальца ставил на кукурузу коленями «смаличку». Но она верила, что он образумится и выправится. Душа у него ангельская... И вера её оправдалась. Лёшка за ум взялся...

Полинка пошла по воду уже по видному, встретила тётку Нинку, которая

одно время пристала к дядьке Тихону. Думал тот, что и Марусе, тогда ещё живой, убивавшейся по мужу, хворавшей после прихода почтарки, принесшей ей гибельную весть, с ним меньше маяться будет, пущай Полинке ума даёт. И появилась тётка Нинка во дворе шумная и беспокойная. Не поглянулась она ни вдове, ни Полинке, а по первах Тихон с рыжей бородой и карими глазами вроде как другим стал, играючи с крыльца на костыле сбегал. «Марусь, — говорил, — ежели хочешь, уйдём к ей, но там её сын-пьянюга дня не может без портвейшка, не дасть покоя...» На что отвечала Маруся: «Ещё чего удумал. Живи сколь хочешь... Но глаза б мои её не видели! Ты не замечал, что даже наша кошка на неё кинуться готова. За котят боится... Оно, конечно, одному куковать тоже не сахар... Но Ксюше она в подмётки не годится...» Тихон краснел: «Само собой».

К той поре, когда вовсе слегла мать, Полина уже повзрослела, хотя мать её привычно называла «маленькой моей девочкой», на тётку Нинку не обращала внимания, когда приносила дядьке Тихону по привычке пирожки с капустой или ещё чего, рассказывала про совсем ослабевшую мать и убегала. У неё было забот по самое горло. Школу даже оставила. Какая разница — семилетка или десятилетка, если жизнь покатилась под откос. Без матери она дальнейшей судьбы не угадывала... И даже думать боялась, что станется с мечтами, надеждами.

...Тётка Нинка у колодца скалывала наледь, доставала воду. А сама глаз-буравчиков не спускала с сиротки:

— За что ж ты меня так невзлюбила?

— Разве я вам это говорила? Мне вы ничего плохого не сделали, — пожала плечами Полина.

— Это все он, — обозлилась тётка Нинка, — Тишка! Калеки все злые. Их Бог обидел, а они своё зло вымещают на других...

Полина хотела смолчать, но не утерпела:

— Не трогайте его. Не Бог его обидел, а фашист проклятый! Мама дядю Тихона очень жалела, и я его жалею... А вы ему были — не пара. Сошлись с ним, чтоб от сына-пьяницы сбежать...

Полинка смолкла. Лицо обожгла хлынувшая жаркая волна. Зеленца в глазах загустела, застыла льдом:

— И я видела, как вы крольчиху ударили об угол, у неё кровь из глаз полилась, а когда разрезали, у неё большие крольчата были в животе! Вы — просто живодёрка! Поэтому и невестка теперь не может родить. Одни выкидыши получаются. Расплачиваться за тебя будут дети твои! Все это говорят! Все. Хорошо, что вас прогнал дядя Тихон!

— Вот свиристелка! Тебе судить? Что ты понимаешь! — подступалась бывшая однодворка к отступающей Полине.

— Гэть, уркаганка! Отойди от девчонки! — кричала Катерина Морина, приближаясь к колодцу. — С ума сошла баба. Смалилась. Кто тебе попадётся, того и мытаришь. И сына Генку загубила.

— Посмотрим, какой у тебя вырастет! Тоже без мужика растишь, — огрызалась Нинка. — Я в поле от зари до зари, а он предоставлен был себе... стал пить...

Катерина сына Димку воспитывала в строгости:

— Прикуси язык, Нинка! Чего дитя тревожишь? Тихон никому слова не сказал, как ты над ним выкаблучивалась, не вытерпел, хоть и трудно одноногому, а ты к дитю зря цепляешься. У неё своя болячка... Одна тянется, на неё молиться надо...

— Чего она брешет, что из-за крольчихи невестка моя, Ганюшка, родить не может! Больная она...

— А рази ж ты стельную коровёнку не прирезала, когда Генка бабку Гарпешку на машине сбил?! Откупилась ты мясом... Может, и пьёт из-за того. Совесть заела...

— А что ж, в тюрягу бы я Генку, — заголосила и сорвалась на крик Нинка, — без меня б он там пропал...

— А тут не пропал?

Набрав воды, Полина навешивала ведра на коромысла, руки тонкие и бледные подрагивали. Она почти не слышала перепалки, хотя неожиданная помощь тётки Катерины была очень кстати.

Чаще, когда ещё тётка Нинка жила рядом, спор был молчаливый. Девчонка избегала скандалистку. «Откуда её принесло недоброе», — «вывернулись» из памяти материнские слова. И действительно, она попила кровушки у всех, кто с нею сталкивался. Тихон долго терпел: «Марусь, идол она, а не баба! Ей бы на метле гонять вместе с чёртом...» — жаловался он. А та молчала. А то скажет: «Чего вожжаешься? Гони в шею... Она ж и старше тебя, и психическая...»

Не чуя ног, во двор залетела Полина. И вёдра пушинкой показались. Она их скинула на порог, села на ступеньку, мороз прихватывал облитые водой руки, и бегом кинулась за кизеками. Грубка дымилась, глаза слезились то ли от дыма, то ли было ей снова одиноко. А услышала, как грякнула дверь во дворе, и подумала, что проснулся дядя Тихон. Нахлынула тёплая волна опять же то ли от сознания, что она не одна, то ли от теплеющей плиты. Она вспомнила, как лежала мать на лавке посреди комнаты, а тётка Катерина, пригорнув к груди Полинку, то подвывала скулящему и воющему во дворе Мурзику, то бессвязно утешала Полинку: «Детушка моя, видать, Господь пожалел твою мамку и к себе забрал... Да ты поплачь! Ишь, фашист проклятый и в мирную жизнь всё ещё убивает людей! То от ран умирают, то от нестерпимой душевной тяготы и муки... Терпи, детушка, куда деваться! Надо это пережить...» А Димка, сын ее,

Полинкин товарищ, морщил лоб, касался плеча подруги и плотно до скрипа стискивал зубы. Плакать ему не полагалось. Он уже усвоил, что матери своей он главный помощник, коль отца «черти с квасом съели» на войне, а черти — это, конечно, те же немцы. Больше всего и его, и мать его томила неизвестность.

«Что же все-таки стало с ним? Пропал, как иголка в стогу! — думала порой Катерина. — А, может, память потерял, как терял память Тишка?..»

Однажды Димка пришёл к матери в комнату под утро: — Мама, мама, — тряс он плечо матери, — ко мне только что во сне приходил отец!

— Сынок, — кинулась к нему мать. — Что с тобой? Ты что мелешь?

— Я его видел! Он был такой... ну как в последний раз мы его видели. Сказал, что он часто бывает вместе с нами, и ещё сказал, чтоб я тебя берёг...

— Мне тоже его увидеть во сне хочется, — села на кровать Катерина. Она его никогда во сне не видела.

Димка днями пропадал то в леске за холмом, то на холмах. И ягода там, и гриб, и кукуруза с колхозного поля, а уж как птиц любил! Знал и о выводках намечавшихся, и об отлете и прилёте их. Полинке взахлеб рассказывал и о птицах, и о лисьей норе, и о волчьем логове. Не раз таскал ее с собой, издалечка, сторожась, показывал гнёзда, полные птичьих ртов: «Выводок уже пятый. Каждый год прилетает сюда соловьиха и прямо в земле гнезда делает, а может прямо на старом месте и начать кладку яиц».

Полинка была от горя не в себе, но то, что Димка рядом околачивался, ей было понятно, иначе и быть не могло... Жизнь не любит пустоты. Она всё заполняет собой. В день смерти матери и дом, и двор были заполнены односельчанами. Они сами пришли даже в великую стужу.

Под рукой тётки Катерины хрупкое плечо то начинало вздрагивать, то замирало. Полина боролась с собственной слабостью, и как отдельные кадры из непостижимо реального кино выхватывало её сознание, её покрасневшие глаза под отёкшими веками. Она увидела, как встал сидящий поодаль дядя Корней, высокий и худой, и пошёл прямо к ней, Полине. Слова от него она прежде не слыхала. Посмотрит, погладит по голове и пойдёт своей одинокой дорогой.

Больше всего в тот день помог справиться с желанием тут же умереть и лечь с матерью в могилу дядя Корней. Тогда же она решила, что никуда не пойдёт после похорон, а останется в своём доме. Что всё будет по-прежнему, как при маме, которая вот сидит тут на крыльце или в окошко смотрит, чи весело здоровается с дядей Тихоном. Она никогда не подавала виду, что ей очень плохо... И она, Полина, не подаст виду, как ей страшно остаться в мире одной.

Дядя Тихон ковылял тогда медленно в подшитых валенках, в шапке, серой цигейковой, в тулупчике куцеватом. Где там найдётся для него подходящий тулупчик! Вон какой высоченный! Правда, другие мало уступали ему. Тоже не

лыком шиты. Все занемели. У него то у самого вот уж горе так горе! Вот уж остуда-беда! Война не кусок сердца отхватила, а прямо всё целиком бросило в нестерпимо жаркий огонь. В груди его полымя неутихающее.

Подойдя к Марии, присел на санки, прикрытые сенцом и кой-какой одежонкой, губы разлепил не сразу. Хриповатый от молчания голос согрелся нежностью: «Полинка, пущай уже мамка не тревожится о тебе. Думаешь, она не видит, как ты себя изводишь. Ей, должно, хочется увидеть тебя большой и сильной. Нам всем нужны силы. Всем, на ком фашист поставил свои сатанинские тавра. Энти паучие тавра жгут нашу память... На всех на нас эти тавра. И в истории всей это время будет отмечено им, и называться оно будет временем Сатанинского тавра, свастики будут корчиться в геиенне огненной...»

Еще тише стало в простывшем дворе, только конь Железняк, запряжённый в санки, всхрапнул и глазом покосил. Ресницы заплаканные стали индеветь на глазах у тех, кто голосил, заодно обвивая и свою пропащую жизнь, свою сиротскую неприкаянность. Молчал весь околоток, как молчала гора Голубинка, что высилась, закрывая бегущие по небу белесые тучки. Молчал День, как окаменевший водопад. И подошёл к санкам Пахом Пахомыч, горемыка. Все представляли, как он шёл вместе с сыном Гаврилом на фронт. Не кричал, не уговаривал, когда узнал, что Гаврик его добровольцем записался. Думал, что убережёт! Живые помощи зашила им жена и мать Шатоха. Бежала за ними сколь могла, а все получилось, как фашист решил. Поставил тавра свои. Разворотил осколок живот Гавриле, а Пахом тогда нечеловеческим криком достал рассветные звёзды. Закачались они и стали сыпаться в глаза Пахому, кричащему: «Прости-и меня, сыно-о-ок! Не уберег я тебя-а-а... Матушка Богородица, смилуйся, сотвори чудо-о-о...» Но застыло свинцовое небо в глазах сынка. Обмякла и раскинулась на полу Шатоха, узнав аж после Победы о страшной утрате. Жить бы ей, ещё жить, но паучее тавро загасило лампаду.

У Полины камнем стало тело, когда ощутила на голове дрожащие пальцы дядьки Пахома. «Знала она, знала всё про беду его! Правда, правда, — подумала она. — На мне теперь тоже это тавро! Мамка не пережила утрату любимого человека! Не нашла сил жить дальше Шатоха, и даже земля, изорванная взрывами, сожжённая, никак не зарубцуется, никак не зарастет».

Пахом уже уходил от санок, Катерина сцепила руки на груди, всё разом пришло в движение, водворился ритуальный беспорядок. И уже в горнице читалка поставленным голосом, чуть нараспев читала заупокойные молитвы.

Кандылял по двору на костылях дядя Тихон, ладил сани и гроб оббивал старым вылинявшим флагом, который в закутке обнаружил в конторе.

На наволочку, набитую соломой, Клавдия Новикова клала и пристебывала бумажные цветы, колола себе пальцы то ли соломой, то ли иголкой. Боли она

не чуяла. Никогда и никому не рассказывала Клавдия Сергеевна о том, какой срам и стыд пришлось ей пережить, когда её, возвращающуюся с дойки вечерней, прибрали к рукам немецкие мотоциклисты. В Кислом яру она провалялась до рассвета, в камышах пряталась, снова и снова лезла в воду смыть с себя позор, а он проступал синяками и кровоподтеками. Даже теперь, через много лет, она чувствовала себя опоганенной и отстранялась от мужа, подступавшегося к ней с лаской. У неё рождались мальчики, и она радовалась, что не девчата...

Подкладывая подушку под голову матери-покойницы, Полина чувствовала, что она влажная. Сама Полина больше не плакала, искала глазами Пахома Пахомыча, желая ему показать, что поняла все, уяснила, что рядом люди, которых война коснулась с той или с другой стороны, что сейчас они как бы забыли о своем горе и прячут от всех эти сатанинские тавра, но они есть у каждого. И Полине тоже надо прятать свою боль. Она, эта боль, ничуть не меньше, чем у других. И, как бы повзрослев сразу, Полинка погладила по плечу тётку Катерину и стала у гроба, в который положили соседушки её мать в крепдешиновом платье, в котором она ещё на свиданку бегала к своему будущему мужу.

На холодном, искрящемся от снежинок суглинке лежали цветы с розовой герани, которая и зацвела, наверное, среди зимы, чтоб украсить могилку Маруси, которая в ней души не чаяла. Всякий раз, когда поливала её, она оглаживала её потеплевшими глазами: «Ох, и красавица ты!»

Мать, небось, вспомнила...

Ставрополь, октябрь 2013 г.